РАЗДЕЛ 2

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИОГРАФИИ

Дмитриев М.В.

«СЛАВЯНСКИЙ МИР» ИЛИ ЕВРОПА? СЛАВЯНЕ ИЛИ ЕВРОПЕЙЦЫ? О ПРОСТРАНСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПОНЯТИЯХ В НАШИХ ИСТОЧНИКАХ, ИССЛЕДОВАНИЯХ И КУРСАХ

Ключевые слова: славяне, славянский мир, славянская идентичность, Европа, Центрально-Восточная Европа, регионы.

Нашему языку – и академическому, и просто разговорному – привычно применять к прошлому категории «этнического» и «национально-идентитарного» (слово «национально-идентитарное» подразумевает различие между «нацией» как политическим сообществом и «нацией» как сообществом, объединённым некой общей идентичностью). Мы говорим об этносах и «народах» Европы, о древних «персах» и древних «греках», о византийцах как о «греках», о мусульманских подданных Османской империи как о «турках», о «русско-турецких» войнах, о «французах» времени Людовика Святого или Людовика XIV, об «испанцах» и «итальянцах» и даже о «швейцарцах» и «австрийцах» в Средние века, о гусизме как «национальном» или «раннем национальном» движении «чешского народа» и, наконец, о «славянах», «славянском мире», «славянском национальном Возрождении/пробуждении»... А какие исторические *источники* и, соответственно, эмпирические факты стоят за данными фигурами и понятиями нашего языка? И как именно, при помощи каких приёмов, методов, подходов мы извлекаем из *источников* наши современные научные и разговорные представления о том, что а) славяне были носителями «объективно славянской идентичности» и что б) «славянская идентичность» была чем-то онтологическим, чем-то существующим «как таковое», чем-то наделенным собственным «бытием», чем-то присутствующим во времени и в пространстве «на самом деле» – а не есть плод нашего научного и обиходного воображения? Что, собственно (кроме родственности языков), делает болгар и поляков, поляков и сербов, сербов и словаков, русских и хорватов некой одной общностью, а поляков и немцев, немцев и чехов, греков и болгар, болгар и румын одной общностью не делает?

При сколько-нибудь трезвом взгляде на вещи мы не можем не признать, что имеем дело с миром воображаемого, а эти «воображенные» сообщества («славянское», «немецкое», «французское», «польское», «австрийское», «швейцарское», «андоррское», «канадское», «уругвайское» и «парагвайское» и т.д.) были *созданы* кем-то, где-то и когда-то, и только будучи созданными, сотворенными, сконструированными они начинают жить «сами по себе». В этом контексте в нынешней научной и интеллигентской среде ссылка на книгу Б. Андерсона [1] о нациях как воображенных сообществах становится обязательной и потому неизбежной.

Не менее ясно мы знаем, что представления о «славянском мире» как типологическом понятии, претендующим на то, что оно отражает «сущее», унаследованы нашей академической наукой и университетской практикой от политиков, идеологов и пропагандистов XIX в. А им помогали историки и этнологи, которые утверждали, что источники и «этнографические материалы» показывают, что «славянская общность» есть не миф, а реальность. Так соответствуют ли наши

представления о славянах тому, что «было на самом деле» – то есть тому, что мы узнаем из *источников*?

Огромное множество исследований по истории наций, национальных движений и идеологии национализма (слово «национализм» употребляется мной в абсолютно нейтральном смысле, присущем английскому термину *nationalism*) в истории Европы XIX в. ясно показало, что представления об особом «славянском» мире были проекцией общих теорий «национального» на политические, культурные и социальные реалии определенного географического пространства – пространства Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы. А вот это, то есть тезис о воздействии политики и идеологий на формируемые в обществе представления и самое язык этих представлений – есть результат научного взгляда на *источники*, а не продукт историософии... И тем не менее мы привыкли апеллировать не к европейскому пространству (в той иной части географической Европы), и не к европейской идентичности, а к «славянству»...

Как так получилось? Критический анализ соответствующих *источников*, их беспредпосылочный, свободный от *a priori* разбор в наших университетских курсах, которые ставили бы вопрос: какое понятие ближе к реальности – «славяне» или «европейцы»? «славянский мир» или «европейский мир»? «Славия» или «Европа»? – был бы прекрасным профессиональным упражнением в изучении давления идеологических аберраций на академическую жизнь и университетскую практику.

Методологически и *источниковедчески* невозможно не признать того, что прошлое той или иной страны, того или иного «народа» есть выражения дискурсов, на основании которых создаются «места исторической памяти». Память создается сначала специализированными группами образованных элит обществ (можно сказать: идеологами; «виртуозами памяти», сказал бы М. Вебер), а потом созданные ими представления проникают в более широкие слои населения, взаимодействуя с индивидуальной памятью той или иной группы или того или иного человека. Такой подход переключается напрямую с тем, как понимается процесс «конструирования» прошлого группой французских историков под руководством П. Нора [4]. Память и мифы, касающиеся прошлого того или иного социума, предстают в этом случае как часть дискурсов, внутри которых действуют, создавая историческую память, идеологи и пропагандисты, которым лишь кажется, что они «объективно» реконструируют историю.

Под дискурсами, вместе со сложившейся в науке и идущей от М. Фуко и его единомышленников традицией, следует понимать картины мира, зафиксированные и канонизированные в языке, которые этот мир и отражают, и создают. А.И. Миллер хорошо передал научные представления о дискурсе, опираясь на наследие М. Фуко: «Дискурс – это отложившийся и закрепившийся в языке способ упорядочения действительности, способ видения мира, выражаемый в самых разнообразных, не только вербальных, практиках, а следовательно, не только отражающий мир, но и его проектирующий и сотворяющий. Иначе говоря, понятие «дискурс» включает в себя общественно принятые способы видения и интерпретирования окружающего мира и вытекающие из именно такого видения действия людей и институциональные формы организации общества» [2, с. 14]. Одновременно учеными признается, что дискурс есть совокупность всего высказанного, и, с этой точки зрения, дискурс – это сказанное и мыслимое, которое берется непременно в предельно широком контексте всей общественной и индивидуальной жизни; и каждый текст есть элемент дискурса и поэтому должен бы рассматриваться в связи с другими частями дискурса.

Соответственно, источниковедческий вопрос состоит не только в том, какие источники и что говорят нам о славянах, славянском мире, славянской идентичности, но и в том, какие источники позволяют нам обнаружить, описать, проанализировать

дискурсы, подразумевающие, что существует такая реальность как «славяне» и «славянский мир»...

Дискурс «славянского» может обнимать и расплывчатые представления, и более или менее систематизированные идеологии, и ментальные (то есть не отрефлектированные, отличные от представлений и идеологий) установки мышления, и символические действия, и общественно-политические практики, которые постулируют или исходят из того, что среди человеческих сообществ есть такое, которое отличается других сообществ некими специфически славянскими «национальными» или «этническими» (а не только политическими, территориальными, хозяйственными и религиозными) идентитарными чертами. Слово «национальное» нуждается в кавычках, потому что очень часто оно употребляется анахронически (современный язык подразумевает под «национальным» реалии XIX–XX вв. и спонтанно и неосторожно переносит их в до-индустриальное время, то есть, так сказать, «не по адресу»). Тем не менее, во-первых, наш язык и наша система представлений о прошлом таковы, что мы непременно видим «национальное» и «этническое» и в недавнем, и в далёком прошлом практически всех обществ; во-вторых, в истории Европы уже в Средние века, действительно, сложились-таки те прочные дискурсивные традиции, которые апеллировали к «национальному» или «этническому». Язык (дискурсы) национализма (*nationalism*) XIX в. унаследовал эти средневековые традиции, соединив их с политическими проектами создания обособленных «национальных» государств.

Что могло бы быть предложено вместо «национальных» и «этнических» связей и идентичностей? Регионалистика! Исследования по «исторической регионалистике» (историческому регионоведению) стали одним из важных новых направлений в исторической науке последних десятилетий. Они объединены идеей выделения критериев, которые позволяют и заставляют идентифицировать типологические региональные границы в истории Европы, в частности – в истории Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы. И вполне жизнеспособным мог бы оказаться тезис, что именно границы между пространствами, регионами, а не этносами и нациями должны быть приняты как альтернатива разграничению «славян» и «не-славян» в истории Европы.

Одной из тем «исторической регионалистики» стала история «Центрально-Восточной Европы», которая, согласно широко распространившимся интерпретациям *типологически* объединяет в средневековую и пост-средневековую эпоху Польшу, Украину, Беларусь, Литву, Прибалтику, оставляя «за бортом» этого региона Московскую Русь и Россию. В центре «Центрально-Восточной Европы» оказывается Польша, а Литва, Украина и Беларусь выступают, фактически, как периферии «польского мира». Эта концепция построена по аналогии с представлениями старой германской историографии о «Восточно-Центральной Европе» (*Ost-Mittel Europa*), которая тоже исходила из логики «немецкий мир и его периферия».

Насколько такие представления (то есть концепция «Центрально-Восточной Европы») соответствуют накопленным эмпирическим, выведенным из источников данным? Этот вопрос остается в высшей степени дискуссионным. Тем не менее, концепция «Центрально-Восточной Европа», в котором история Украины и Беларуси систематически противопоставляется истории России, широко вошла в университетскую преподавательскую и научную практику и в обиход *academia* бывшего «советского блока» после публикации люблинским Институтом Центрально-Восточной Европы соответствующего двухтомного труда под названием «История Центрально-Восточной Европы» [3]. Эта книга была переведена на русский, украинский, литовский, белорусский, французский и, видимо, другие языки. В декабре 2000 г. в Люблине была проведена международная конференция «Русские, немцы и евреи в истории Центрально-Восточной Европы», задуманная и как презентация только

что вышедшей книги; приехавшие из Германии, Израиля и России историки очень дружно подвергли вежливой, но весьма жесткой академической критике и книгу, и стоящую за ней концепцию, считая их, по меньшей мере, предвзятыми. Однако материалы конференции, вопреки первоначальным заявлениям и заверениям организаторов, не были опубликованы. Предполагалось также развернуть международный исследовательский проект о месте и роли русских, немцев и евреев в истории «Центрально-Восточной Европы». После конференции 2000 г. люблинский институт от этой идеи отказался. Так существует ли на самом деле «Центрально-Восточная Европа»? Или существуют Восточная и Центральная Европа?

Главный вывод из написанного: вне языкознания и, возможно, этнологии, в наших исследованиях и университетских программах следует перейти от этно-национальной типологии, обособливающей «славянский мир» внутри европейского, к пространственно-географической, регионоведческой понятийной номенклатуре, которая исходила бы из подтвержденного источниками разграничения Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и отдельных пространств внутри данных частей Европы.

1. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон ; пер. с англ. В. Г. Николаева. – М. : Канон-Пресс-Ц, 2001. – 287 с.
2. Миллер, А. И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.) / А. И. Миллер. – СПб. : Алетей, 2000. – 267 с.
3. Historia Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. J. Kłoczowskiego. – Т. 1–2. – Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000 – 544 s., 354 s.
4. Les lieux de mémoire / sous la dir. de P. Nora. – Vol. 1–7. Paris : Gallimard, 1984–1992.

Мікалаева Л.В.

ПРАБЛЕМА КЛАСІФІКАЦЫ ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫХ КРЫНІЦ

Ключавыя словы: гістарыяграфія, крыніцазнаўства, гістарыяграфічная крыніца, класіфікацыя.

Нягледзячы на тое, што тэрмін «гістарыяграфічная крыніца» з’явіўся ў лексіконе гістарыёграфу яшчэ ў сярэдзіне 1960-х гг. [14, с. 3–49], ён па-ранейшаму адносіцца да тых катэгорый гістарычнай навукі, якія не маюць адназначнай трактоўкі іх змету. У апошні час дыскусія пра нападзенне паняцця «гістарыяграфічная крыніца» выйшла на новы віток і ў бліжэйшы час не будзе вырашана адназначна. Апошняе актуалізуе праблему класіфікацыі гістарыяграфічных крыніц, якая дазваляе разабрацца ва ўсёй іх сукупнасці, разгледзець пытанне аб значнасці кожнага з відаў крыніц у вивучэнні праблемы даследавання, высветліць, наколькі поўна яны прадстаўлены па вивучаемым пытанні. Класіфікацыя дапамагае гістарыёграфу асэнсаваць прыцягваемыя крыніцы, устанавіць іх паўнату і вызначыць, якія віды дазволілі б больш глыбока вивучыць праблему. Яна таксама накіроўвае даследчыка на далейшы пошук неабходных матэрыялаў, а ў выпадках, калі новы пошук немагчымы – паказвае, якімі іншымі крыніцамі можна замяніць адсутныя.

Аднак неабходна адзначыць, што класіфікацыя гістарыяграфічных крыніц мае сваю даволі складаную спецыфіку [5; 11, с. 3–18; 8, с. 501–509; 7, с. 184–195; 6, с. 126–136]. Уяўляецца магчымым вызначыць шэраг поглядаў даследчыкаў на яе.

На думку Л.М. Пушкарва, класіфікацыйная схема, выпрацаваная савецкім крыніцазнаўствам у дачыненні да гістарычных крыніц, у пэўнай меры можа быць выкарыстаная і для крыніц гістарыяграфічных. Канкрэтная ж класіфікацыя будзе залежаць ад мэтаў, якія ставіць перад сабой гістарыёграф [13, с. 103]. У сувязі з азначанай пазіцыяй можна пагадзіцца з меркаваннем С.І. Малавічка, што, па сутнасці, у